



## **В. В. РОЗАНОВ**

### **25-летие кончины Некрасова (27 декабря 1877 г. — 27 декабря 1902 г.)**

«Худо мне! Мой дом — постель. Мой мир — две комнаты; пока освежают одну, лежу в другой», — писал в марте 1877 г. Некрасов<sup>1</sup>. Полгода, тянувшиеся за этими словами, памятливы или непосредственно, или через передачу, всем. Это был обоюдный энтузиазм поэта к публике и публики к поэту. Не станем избегать слова «публика». Некрасов сам не любил и не подставлял вместо ходячих терминов, хотя бы несколько затасканных, других, не вполне точных, хотя бы и более величественных. Русская публика в эти страдальческие дни поэта сказала истинно благородным существом, как бы протягивавшим руки к одру умирающего, бессильная ему помочь, но говоря ему в письмах и приветствиях все, что может сказать родной родному. Взрывы чувства на минуту, в день или неделю похорон, около незасыпанной могилы, поднимаются до этой высоты сродненности; но чтобы они тянулись в этом напряжении полгода — это случилось впервые с Некрасовым. Он не был первым по размеру литературного дарования в царствование Александра II, но его дарование было самым нужным и вместе самым, так сказать, законнорожденным за это царствование; и он может быть назван по справедливости первым поэтом этой эпохи; самым видным, значащим, влиятельным литератором. Кто помнит семидесятые годы, как свои гимназические или студенческие, помнит товарищей, которые никого другого из поэтов (и почти из литераторов), кроме Некрасова, не читали, или читали лишь случайно и отрывочно; зато у Некрасова знали каждую страницу, всякое стихотворение. Знали и любили; не сплошь, не одинаково, но некоторые стихотворения — восторженно.

Некрасов дал первый образ прозаического стиха и был первым публицистом-поэтом, в этом синтезе двух качеств достигнув почти величия. Нам его легко читать; он говорит, как мы и то же, что мы. Таким образом он стал голосом России; если кто усмехнувшись заметил бы, что

это мало и грубо для поэта, тому в ответ мы добавим, что он был голосом страны в самую могучую, своеобразную эпоху ее истории, и голосом отнюдь не подпевавшим, а свободно шедшим впереди. Идет толпа и поет; но впереди ее, в кусточках, в перелеске (представим толпу, идущую в поле, в лесу) идет один певец, высокий тенор, и заливается; — поет одну песню со всеми. И ни к кому он не подлаживается, и никто к нему не подлаживается, а выходит ладно.

В это время славянофилы кисли в своих «трех основах», проповедывали «хоровое начало», но ничего у них не выходило; а настоящее «хоровое начало» и всяческая русская народность без всякого предварительного уговора и хитрых подготовлений и получилась вот в этой ладной песне тех памятных лет и, напр., в таком энтузиазме публики к умиравшему поэту и поэта к ней, какая случилась у постели Некрасова. Не могу никого упрекать, но для дела не могу не заметить, как много дал бы И. С. Аксаков, если бы у его постели случилось подобное же явление: «хоровое начало! матушка Русь!! чую тебя!!! пробудил, возбудил», — думал бы редактор «Руси». Но он всегда был частичным русским явлением, а не общерусским, был фактом кабинета и гостиной, а не улицы, не площади. Именно Минина-то и не выходило. А у Некрасова и вышло нечто вроде Минина, конечно в сообразно изменившейся обстановке, совсем с другими темами, другими задачами, другими речами.

Скучно, скучно!.. Ямщик удалой  
Разгони чем-нибудь мою скуку.

.....

«Самому мне не весело, барин!  
Сокрушила злодейка-жена».

И т. д.<sup>2</sup>

Кто этого не помнит? Кто не поймет, что это есть новая и нужная страница «Полного собрания русских летописей». Некрасов запел в глубоко русском духе. По «русизму» нет поэта еще такого, как он: тут отстают, как сравнительно иностранные, Пушкин, Лермонтов, да даже и Гоголь. У Некрасова все было ежедневно, улично, точно позвано сейчас с улицы к столу поэта-журналиста; и вместе каждое у него стихотворение светилось смыслом целостной своей эпохи. Мы заметили, что у него было больше «русизма», чем даже у Гоголя. Гоголь смеялся над действительностью, и притом довольно полно, т. е. над всею и всякою русской действительностью. Ему надо было дотащиться до Рима, чтобы наконец начать смотреть кругом себя без сарказма, без улыбки. Весь мир Гоголя — глубоко фантастический; он изведен

изнутри его бездонного субъективизма. Гоголь был необыкновенный человек. Напротив, Некрасов был совершенно обыкновенный человек; и потому-то в эпоху простую, ясную, открытую, а вместе бесконечно деятельную и порывистую, он сыграл необыкновенную роль. Дайте Некрасову на вершок более гения, и его значительность в большой мере потухнет. Ведь и Толстой, и Достоевский, люди более гоголевского типа и сложения, с гоголевским углублением в себя и в мир, решительно не получили в то время настоящего значения и влияния. Некрасов весь вошел в кровь и плоть времени; это — как подкожное впрыскивание, где целая доза лекарства поступает в организм и сейчас же начинает его перерабатывать; сравнительно с приемом внутрь, где действие бывает медленно, наступает потом, да и усваивается-то из принятого вообще лишь некоторая доля.

\* \* \*

Особенностями его биографии, личного сложения ума и характера Некрасова в высшей степени пришелся к своему времени, как и его время в высшей степени пришлось к нему. От этого совпадения он до редкости полно выразился и принес родине плод своего таланта, как и сам собрал с родины полную кошницу славы, — нет, выше и лучше: любви, слез и восторгов. Были ли они заслужены и именно в этой мере? Смешной вопрос: кто умел подымать сердце родины стихом, — а Некрасов несомненно это делал, — заслужил и то, что получил он, и даже больше. Заслужил чего угодно. Все время около него шипела зависть (немногие имели такт скрыть ее) людей отчасти более литературных, более образованных, но без специального отношения к своему времени и народу. Здесь мы снова возвращаемся к «русизму» Некрасова, о котором не хотели говорить больше: «Забывтая деревня», «Коробейники», «Крестьянские дети», «Орина, мать солдатская», «Тройка», «О чем думает старуха», «Мороз, Красный нос», «Влас», «Притча о Ермолае трудящемся» (замечательное совпадение в моральной теме с «Много ли человеку земли надо» гр. Л. Н. Толстого), «Дума» (Сторона наша убогая, выгнать некуда коровушки), «Деревенские новости» и еще многие другие, будучи очень неровны в поэтическом отношении, принадлежат к таким, которые будут существовать в нашей памяти, пока в ней существует как милое и родное — русское лицо. Это как поэтический паспорт, где прописаны «приметы» народные и который придется предъявить иностранцу или далекому потомку всякий раз при вопросе: «Кто и что такое русский народ». Здесь местами есть прелесть

Кольцова, но уже углубленная исторически поздними думами; есть выразительность Толстого и Достоевского; а некоторые вещи, как «Влас» и «Крестьянские дети», суть единственные по колоритности и задушевности, суть перлы русской поэзии, ничем не заменимые, не заместимые. Их ни на что не захочется обменять, из русской ли поэзии, или из иностранной, если бы такой невозможный обмен кто-нибудь предложил, если бы его можно представить себе.

Этим, нам думается, решается вопрос, был ли Некрасов истинный поэт. Соглашаясь, что три четверти и, может быть, более его стихов представляют боевую публицистику времени, и даже просто журнальную работу, мы затем все-таки получим сотню или две страниц поэзии, относительно которой уже всякие сомнения и вопросы бессильны, ненужны, пошлы. Между тем, кто не настоящий поэт, не может дать и одного настояще-поэтического стиха. Великий скульптор сказывается в одном ударе молотка, музыкант — в одной ноте, поэт — в одном стихе. У Некрасова был настоящий родник поэтического слова, не надуманный, не приискиваемый, а сам бьющий. В некоторых скучных его стихотворениях — вдруг выскочит жемчужина — слово:

Ты и убогая,  
Ты и обильная,  
Ты и могучая,  
Ты и бессильная,  
Матушка-Русь!

Лучше этого никто ее не определил. И никто не сказал лучшей похвалы:

В рабстве спасенное  
Сердце свободное,  
Золото, золото  
Сердце народное<sup>3</sup>.

В последнем четверостишии две первые строчки искусственны, «литературны». Но две последние, где почти и стиха нет — скатились, что дождь с крыши, со всей биографии поэта, из всего его прижизненного опыта. Это точно старый охотник, поставив ружье вечером, тихой думой сказал все, что он встретил за день, что сделал, что «купил» у судьбы в этот окончившийся день.

И никогда, нигде не сказалась у Некрасова брюзготня на народ, нигде не посмотрел он на него недобрым взглядом, — хоть без сомнения и в ранние годы усадебной, помещичьей жизни, и позднее, бродя с ружьем по Ярославской губернии, встречал и грубость, и жесто-

кость, и обман. Да разве в «Коробейниках» лесник добрая фигура? Но Некрасов на все имел большой взгляд, и злой лесник около проворных коробейников уложился в красивую и спокойную картину.

\* \* \*

Легко, свободно и невыразимо могуче Некрасов, как бы захватив пригоршнями две волны, деревенско-мужицкую и школьно-интеллигентную, плеснул их друг на друга, к взаимному оплодотворению, к живому союзу в любви и помощи. Никто столько как он не сделал, что сельская учительница стала другом деревни, ее же другом стал земский врач: мы говорим, конечно, об идеале, о мечте, которая, однако, влечет за собою огромную действительность, хотя и не отвечает за бывающие исключения.

Сеятель знания на ниву народную,  
 Почву ты, что ли, находишь бесплодную,  
 Худы ль твои семена?  
 Робок ли сердцем ты? Слаб ли ты силами?  
 Труд награждается всходами хилыми  
 Доброго мало зерна!  
 Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,  
 Где же вы с полными жита кошницами?  
 Труд засевающих робко, крупницами,  
 Двиньте вперед!  
 Сейте разумное, доброе, вечное  
 Сейте, спасибо вам скажет сердечное  
 Русский народ...<sup>4</sup>

Это, зовет как знамя — воинов; это годно как флаг развиться над русскою школою. Некрасов пережил ее счастливейшую пору, когда она не знала около себя сомнений, не слышала укоров и запозреванья. Мы входим в юбилейные Петровские дни; в 60-е годы мы пережили Петровские по свежести дни около школы, дни творческие, зачинающие. И этому зачину Некрасов сказал неувядающие поистине и воодушевлению слова.

Вся сумма его публицистики, куда входят и журнальные водянистые стихотворения, имели совершить и совершили этот синтез русского ученого или полуученого человека и русского простого, неграмотного почти человека. Конечно, над темой этой трудилось, кроме Некрасова, очень много людей; вообще это было темою приблизительно двух десятилетий литературы и общественности. Но когда тема времени

получает над собою стих поэта — она прививается вдохновенно. И вот это-то и совершил Некрасов, не только соединив деревню и русского «интеллигента», но как бы гальванопластически спаяв их. Образование русское не осталось отвлеченным, а налилось соком народности и практицизма, а деревня перестала быть французско-русской идиллией, предметом стихов Державина или Майкова. Мы произнесли слово «интеллигент», почти смешное. Смешных эпитетов и названий нужно усиливаться избегать. Слово «интеллигенция» многие годы, особенно восьмидесятые, не было лестным; около него колебались чувства, было множество гримас, и оно почти готово было перейти в кличку, весьма мало уважительную. Но колебания туда и сюда в смысле этого эпитета улеглись; теперь он распространен, не марает того, к кому прилагается, и один талантливейший в наши дни историк (П. Милюков) уже написал без смущения на заголовке новейшего труда своего: «Очерки истории русской интеллигенции». Таким образом термин укрепился, стал почетным, имеет поползновение исторически укрепиться. «Интеллигенция» тем отличается от «культурного слоя», что последнее понятие есть более аристократическое и обнимает родовитые слои русского образованного класса. Между тем коренной нерв образованности русской проходит не по родовитым верхним слоям, например старого образованного дворянства, а по слою низшему, куда решительно тянет и лучшая часть собственно культурного слоя. Далее, если взять другой синонимический термин: «русская образованность», «русские образованные люди», — то в обоих их мы не найдем того нервного движения, того динамического, живого, кругообращающегося, растущего момента, который содержится в термине «интеллигенция», «интеллигент». Последнее слово применяется к просвещенному русскому человеку, который дары просвещения не сохраняет, как драгоценный фрукт, завернутый в бумажку, — а, напротив, обильно его расточает вокруг, так сказать, дает «душу свою» в снедь ближнему, нужде, всякому жаждущему. «Культурный человек» или «образованный» — сохраняется; «интеллигент» — сгорает: и в этом их разница. Момент-то горения и есть здесь главный, ибо его процесс и образует «интеллигентную жизнь» учителя, лекаря, писателя, сестры милосердия, ученого землевладельца, кого угодно, которые все объединяются в «умном горении». Оно, как мы заметили, могло бы у нас вспыхнуть отвлеченной, кабинетной наукой, как в Германии, или сухим политическим пламенем, как во Франции; культурным комфортом, как в Англии, или художественным эстетизмом, как в лучшие дни старой Италии. В 40-е годы тенденция, например, к последнему была и у нас. Но у нас вышло «пламя ума» совсем в новой форме, самобытной, нам лишь присущей; где сострадательный, нравственный, человеколюбивый момент едва ли не составляет «душу», но душа эта одета плотью и наря-

дами и собственно философии, и эстетики, и политики, в замечательной и гармоничной связи. Тип доброго русского интеллигента (вспомним покойного доктора Белоголового<sup>5</sup>) — чрезвычайно добротный, так добротный, что всмотревшись в него внимательно и потом долго думая, наконец, решаешь: «И не надо лучше; нечего переделывать: вышло хорошо». Я говорю о бессознательных недрах и токах истории, вырабатывающих типы людей, как бы творящих еще и еще «форму человека».

В эту форму Некрасов влил чрезвычайно много своего. Он как бы посыпал ее пшеничным зерном (деревенские его темы), а вместе дал суровый и сатирический закал горожанина, резкий очерк души, которую формировали злейшие ветры каменных улиц. Некрасовская поэзия — синтез нежности в ее крайнем выражении («Баюшки-баю», «Рыцарь на час»), с насмешливостью и даже грубостью тоже крайне выразившейся («Подражание лермонтовской колыбельной песне», «Юбиляры и триумфаторы», «Герои времени»). Точно замерзающий человек: внутри — тепло, поэзия, грезы; снаружи — ледяные сосульки, ооченелый и недвижимый вид.

Были ли у него общечеловеческие темы? Да, хотя и в форме столь личной, «некрасовской», что их общечеловечность не была даже замечена.

Великое чувство! у каждых дверей,  
В какой стороне ни заедем  
Мы слышим, как дети зовут матерей,  
Далеких, но рвущихся к детям.

Великое чувство! Его до конца  
Мы живо в душе сохраняем,  
Мы любим сестру, и жену, и отца,  
Но в муках мы мать вспоминаем<sup>6</sup>.

Все стихотворение — слабо и бледно, и представляет неискusstное предисловие к двум последним строчкам. Но в них прорвалась такая буря настоящего чувства, испытанного и лично поэтом, а вместе и всемирно-истинного, что ради них все стихотворение входит необходимейшим нравственным звеном в русскую литературу. Взять из нее эти две строчки значит вдруг обеднить ее смысл. Есть также упрек, что Некрасов не пел любви, «которую поют все поэты». Между тем часть пятой главы «Коробейников», от стиха:

Хорошо было детинушке  
Сыпать ласковы слова,  
Да трудненько Катеринушке  
Парня ждать до Покрова

и до стиха:

Думы девичьи, заветные,  
Где вас все-то угадать?  
Легче камни самоцветные  
На дне моря сосчитать.  
Уж овечка опушается,  
Чуя близость холодов,  
Катя пуще разгорается...  
Вот и праздничек Покров!<sup>7</sup>

возвышается до кольцовской простоты и прелести. «Буря», «Огородник», «Ты всегда хороша несравненно», «Когда из мрака заблужденья» и, наконец, почти предсмертное: «З-не» дают полную гамму любовных и любящих звуков, и в ее кратких эпизодах, и в художественных, и в высочайше-нравственных. Невозможно без волнения, почти без слез перечитать последнее:

Двести уж дней,  
Двести ночей  
Муки мои продолжаются;  
Ночью и днем  
В сердце твоём  
Стоны мои отзываются  
Темные зимние дни,  
Ясные зимние ночи...  
З-на! закрой утомленные очи  
З-на! усни!<sup>8</sup>

Это потрясает как зрелище спальни и постели умирающего; читаешь стих — как болеешь сам. Такое чувство родины, — не лучше ли, чем в отвлеченной, абстрактной оде, с припоминанием лат Рюрика, оно сказалось в этом кратком напутствии Салтыкову, при его отъезде за границу, умирающего поэта:

О нашей родине унылой  
В чужом краю не позабудь.  
И возвратись, собравшись с силой,  
На оный путь — журнальный путь<sup>9</sup>.

Право же, эта «любовь журналиста» стоит и любви офицера, да она не меньше и любви пахаря-крестьянина к своей земле-родине. Но Некрасов в кратком, небрежном и от этого так искреннем четверостишии вычеканил как бы «медаль в память» и любви журналиста к земле своей, — и с каким отличительным, характерным колоритом!



\* \* \*

Объем каждого писателя, конечно, уменьшается со временем. С каждым десятилетием остается меньше и меньше его произведений, *еще живых, еще нужных, еще поэтических* на новые вкусы. Поэты — *ссыхаются*. «Полные собрания сочинений» переходят в «избранные сочинения» и, наконец, в «немногие оставшиеся», которые читаются. В нашей литературе Лермонтов и Кольцов, оба писавшие так мало, являют единственное исключение поэтов почти без ссыхания (например, Никитин весь почти высох, от него почти ничего живого, *перечитываемого, заучиваемого* не осталось). Этой судьбе подлежит и Некрасов, и через 25 лет по кончине его едва четвертая доля его стихов остается в живом обороте. Но не говоря о том, что ни в какое время нельзя будет историку говорить о важнейшей эпохе 60–70-х годов XIX века без упоминания и разъяснения Некрасова, и в самой сокровищнице поэзии русской некоторые его стихотворения, как «Влас», и отдельные строфы из забытых стихотворений буквально:

Пройдут веков завистливую дань<sup>10</sup>

и не забудутся вовсе, не забудутся никогда. Их будет всего около десятка листочков, но они останутся, — и, следовательно, Некрасов вообще увеличил «лик в истории» русского человека, русской породы, русской национальности.

\* \* \*

Вопросы. 1) об искренности поэта, 2) о его равенстве или неравенстве с первыми корифеями нашей поэзии и 3) о его личных биографических «прегрешениях» всегда трактовались в каждой о нем критической статье. Всегда слышалось желание защитить память поэта; всегда слышалось желание ударить больно по памяти поэта; увенчать пышнее или развенчать вовсе. Ни для кого не был Некрасов безразличен; «odi» et «amo» («люблю» и «ненавижу») всегда волновались около него при жизни и после смерти. Теперь, в юбилейный день, конечно, особенно легко говорить похвалы, но не потому, что это легко, а поистине мы ответим по пунктам на три указанных вопроса.

В последние месяцы, когда мы снова и снова перебирали в уме упрек: «он играл в карты», «ездил для этого в английский клуб», у нас сложился циничный ответ упрекающим: «играл, и представьте, счаст-

ливо!» Дело в том, что этот циничный ответ, и следовательно, рвется, так сказать, отражающею рапирою на циничный же вопрос. В вопросе этом сокрывается ужасная боль: боль эта идет, удар наносится завзятым фарисеем и фарисейством. Да, человек играл в карты, имел «страстишку» и даже поглощающую страсть (никто не скажет, что он играл, как торговал, — и при неблагоприятном обороте бросил бы игру: он скорее разорился бы, проигрался в пух), — как решительно все мы, кроме святош! Те не имеют никакой страсти, — кроме самолюбия! Крошечное их «я» сожрало их; святоша вечно носится с собою, так сказать мысленно лобзает себя со словами: «Душка! Какой ты!! Ты не играешь в карты!!!» Как Плюшкина сожрала его деньги, и от человека осталась только засаленный халат, — так святошу сожрала «безгрешность моего я», и от него осталась какая-то психологическая кокетка, не могущая отвести лица от зеркала, отражающего из всего мироздания единственное его «я». Эти Нарциссы праведности на самом деле в категории именно праведности не только не стоят на высокой ступени, но и вовсе не стоят на этой лестнице. Они — вне категории добра и зла. Есть мировая загадка, сокрыта некая чудная тайна в том, что стать полным человеком, развитым, одухотворенным, тонким, так сказать, «родиться духом, а не плотски только», — можно единственно ослабнув где-нибудь, в чем-нибудь, — как Некрасов в картах (легчайшая форма падения), но часто в гораздо большем, в тягчайшем. На испытания при приеме в «культ Митры»<sup>11</sup>, — пришлось мне прочесть когда-то, — испытываемый проводился между прочим и через ступени «преступления», и до такой степени, что какой-то император римский должен был кого-то убить. Между тем самый культ этот считался кротким и к нему принадлежал Марк Аврелий<sup>12</sup>; в кротчайших религиях, самых мирных, в зерне лежит: «жертва», «пролитие крови», «принесение в жертву жизни». Между тем, конечно, император, которому *хотелось* только убить, мог войти в тюрьму, проколоть ножом горло десяти приговоренным. Что же могло содержаться в таком «испытании», если в нем, очевидно, не содержалась жестокость, жажда крови?! Да вот «карты» Некрасова, слабость, падение, которое его подняло на такую высоту над праведником-критиком, повторяющим знаменитую стереотипную молитву фарисея: «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как вон тот мытарь»<sup>13</sup>.

Святая загадка праведной лестницы заключается в том, что высокие ступени одухотворения, тонкости душевной вообще не достигаются без некоторых «падений». И что вечное оплакивание подлинными и удостоверенными праведниками «грехов своих» не есть только при-сказка, и не есть «уничуждение паче гордости», а есть плач о подлинных, настоящих грехах, каких и не узнаешь в миру. Праведники наибольшие суть те, которые наиболее согрешили: тогда их слово исполняется

огнем правды, а сердце источается в любви к слабому, «братскому» (в грехе). Является идея прощения и наконец всепрощения. Таким образом, нужно вполне удивляться, что Некрасов, согрешив самую легкую формой греха, картами и Английским клубом, в тонком и нежном сердце своем нашел упрек себе, и чистый и прекрасный, и выразил его в стихотворениях «Рыцарь на час» и «Неизвестному другу», где так удивительно соединены гордость и скромность. Плюшкины праведности таких тонов не знают: они или кичливы, или малодушно испуганы.

«Неласковая муза», «муза мести и печали», конечно, имеет такие же права на существование около ласковых и грациозных, около хвалебных муз, как гроза — около затишья, буря — около солнечного дня. Мир был бы беднее, если бы их не было; и хотя мы все стереотипно повторяем строку, где говорится о «Боге — в тихом веянии ветра», но не забудем, — что Иову он говорил «из бури». Наши религиозные представления, и за ними этические, страшно покачнулись в сторону «тихости», «кротости», «прощения», каковые качества напоследок времен начали переходить в «слащавость», «бесхарактерность», сахаристость самую безвкусную на всякий здоровый вкус. И стих некрасовский, и тоны, и темы его для пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов были и этичнее, и эстетичнее, чем тоны всех поэтов-сверстников его. Не только они по сердцу пришлись своему времени, но решительно ничего красивого не было в те дни повторять тоны Анакреона или Пиндара, Парни или Делиля.

Весна слетела к нам с лазоревых небес:  
 Воскреснули поля, и ожил спавший лес;  
 Природа облеклась в зеленую одежду;  
 Встречаем и любовь, и счастье, и надежду,  
 Ходящих об руку в долинах и лесах\*.

Это можно было петь в какую-нибудь бесцветную эпоху, слишком общечеловеческую, т. е. без своего дела. В «благословенную» эпоху, когда Сперанский и Аракчеев попеременно несли «на раменах своих» Россию, эти песни были у места<sup>14</sup>. Но была крайняя безвкусица перепевать эти напевы в пору освобождения крестьян, падения старого суда и проч.

Положение Некрасова среди Пушкина, Гоголя, Лермонтова неуместно. Это люди вовсе разных категорий, разных призваний, разной исторической роли. Сравнить их так же странно, как спрашивать, что

\* «Сады, или Искусство украшать сельские виды». Сочинение Делиля. Пер. Александр Воейков. СПб., 1816 г.

лучше, железная дорога или Жанна д'Арк. На нелепый вопрос вовсе не нужно давать никакого ответа. Эта ошибка была сделана при похоронах Некрасова и подняла споры, вовсе не удобные и скорее унижительные для доброй памяти нашего поэта, памяти своеобразной, оригинальной, высокой. Поистине, продолжали его мучительную предсмертную болезнь люди, которые кричали: «Он — выше Пушкина». Не «выше» и не «ниже», а совершенно в стороне. Кто «выше», Аннибал или Сократ, Суворов или Сергей Радонежский? Что за вопросы? И кому их разрешение нужно?<sup>15</sup> На могиле его совершенно нравственно было крикнуть: «Сейчас мы любим этого умершего поэта более, чем Пушкина; он нам привычнее, он нам больше сказал; он нас подвинул больше, чем вся остальная русская литература». В словах этих была бы правда и истина, личная, биографическая, выражающая истинный биографический факт людей 1877 года. И не за что нам упрекнуть их, как и не для чего повторять.

Искренность музы некрасовской всего лучше доказывается тем, что тон его сейчас же почти угас в литературе с ним. Значит, он и исходил из его сердца, а не то, чтобы сердце его было только резонатором несшихся кругом его звуков; чтобы он подражал или увлекаем был эпохой. Он был ее двигателем — это во всяком случае. В жалобах «покаянных стихов» он только сетует, что не двинул дальше, больше. Но, нужно заметить, общее положение его окружающих вещей было таково, что он мог собственно только больше нервничать, а не то, чтобы в самом деле что-нибудь мог дальше двинуть. И вовсе не по практицизму своему, но по холодной закаленности натуры, по трезвости и ясности головы решал, что пустые пространства биографии отчего же и не заполнить охотою летом и картами зимою. Пристрастие к последним, очевидно, ему было передано в роду, — совершенно как передается расположение к алкоголизму; т.е. было передано, как сумма нервных и умственных, страстных и почти счетных предрасположений и вкусов. Это принадлежит к числу тех недостатков, которые извиняются медиками, самыми компетентными здесь людьми. За потребностью, почти органической, карт последовало и общество большой картежной игры, к которому, однако, ни одним стихом он симпатии не выразил, и очевидно с этим обществом не было его сердца. Мне представляется Некрасов совершенно правдивым существом, богато во все стороны раздавшеюся натурою; оригинальною, сильною, до типичности великорусскою, до приурочения к известной губернии, до невозможности представить его уроженцем какой-нибудь другой губернии, кроме четырех смежных: Ярославской, Тверской, Костромской, Владимирской. И, в конце концов — был натурою чуткою, нежною, деликатною (его стихотворения, посвященные памяти матери и вообще всемирному чувству материнства и чувству детей).

Из упреков настоящих на нем лежит только один: отношения к Белинскому, жесткие, своекорыстные. Это — темное пятно, не суживающееся от времени. Гордость поэта не допустила бы, чтобы мы его сузили или чем-нибудь «присыпали», чтобы было незаметно. Нет, это заметно и навсегда так останется. Достаточно сознать, что Некрасов болел об этом. А насколько он это искупил может быть чем-нибудь для нас незаметным, никому не рассказанным (у него есть в стихах намеки на разные маленькие надувательства его крестьянами, к которым, очевидно, он за это не придирался) — это пусть останется между ним и небом.